

*Вопросы филологии***МАЛЕНЬКИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ И БОЛЬШАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ОБ ОДНОМ ИЗ «ЗНАНИЕВСКИХ» РАССКАЗОВ Н. Д. ТЕЛЕШОВА***Д. А. Завельская*

Имя русского писателя Николая Дмитриевича Телешова сейчас мало известно широкому читателю; в большей степени — специалистам, изучающим литературный процесс конца XIX – начала XX вв. Да и у них обычно на первом плане — роль Телешова в создании сообщества культурных деятелей вокруг телешовских «Сред», благодаря которым возникло и горьковское «Знание»¹, и вересаевское «Книгоиздательство писателей в Москве».

Конечно, по сравнению с другими участниками этих сообществ: Горьким, Андреевым, Куприным, Буниным, Шмелёвым — сам Телешов воспринимается автором «второго плана», но тем интересней обратиться к поэтике его произведений как части общего литературного процесса.

В частности, весьма интересен и в ключе общественно-политической проблематики, и в плане художественной изобразительности небольшой рассказ «Надзиратель», опубликованный в Сборнике товарищества «Знание» за 1906 г. (кн. 9). В нём своеобразно преломились общие тенденции, условно говоря, «демократического» направления литературы с отчётливо выявленными тенденциями и симпатиями. Безусловно, сам Телешов принадлежал именно к этому направлению, но скорее в призме старой традиции сочувствия к «маленькому человеку», ставшему жертвой социальной несправедливости.

В годы Первой русской революции, отмеченной крайней активизацией публицистической линии в литературе и общественным пафосом, изображение «слуг царского режима», разумеется, приобрело особо яркую критическую окраску. В рассказе Серафимовича «На Пресне» казаки и офицеры предстают вовсе обезличенными, как некие «сгустки» злой, холодной, враждебной силы.

Несколько иначе трактовка представителей власти выглядит в двух одноимённых повестях Л. Андреева и И. Сургучёва под названием «Губернатор», хотя и в них тенденция очевидна: оба губернатора (каждый по-своему) ощущают свою обречённость и «неправедную социальную роль». Оба вынуждены взглянуть в лицо судьбы, «приговаривающей» их к небытию.

Тем примечательнее на этом общем фоне, включая иные многочисленные примеры, образ телешовского надзирателя Лыжина. Трогательный в своём одиночестве и поиске бытийной правды, он не в силах вместить в себя «большую» правду «всей России», которая смотрит на него с географической карты в кабинете полицейского участка, не в силах преодолеть внутренний разлад совсем иного рода, нежели у сургучёвского и андреевского губернаторов: «Прошло то время, когда ему было неприятно сознание, что его, околоточного Лыжина, совершенно

незаслуженно называют “крапивным семенем” и “около-водочным надзирателем”, а должность пристава производят от слова “приставать”... Всё это было пустяками и шуткой сравнительно с теперешними названиями. Теперь уже не стало шуток. Теперь все, носящие серебристый узкий погон на плече и городской герб на фуражке, заподозрены в стремлении, наравне с тёмными нерассуждающими людьми, избивать и увечить докторов и студентов, учителей, курсисток и даже гимназистов»².

На общем фоне такое раскрытие переживаний околоточного выглядит почти смелым, хотя в русле преимущественно безоговорочных симпатий к революционной стороне — допускалась некоторая снисходительность к низшим чинам армии и полиции — как к «винтикам» и собственно жертвам той же системы (например, рассказ Горького «Солдаты»). Однако Телешов проявляет нечто большее — сочувствие к личной, незаслуженной обиде Лыжина на жестокость общественного мнения. Характерно и слово «заподозрены», которое носило отчётливо негативный оттенок «консервативного мышления», как знак принадлежности к охранительному лагерю и агрессивности в отношении инакомыслящих. Здесь же «заподозрен» сам околоточный, заподозрен в том, что ему совершенно не свойственно, а именно — желание избивать и увечить.

В данном ракурсе Лыжин сам становится «жертвой», но отнюдь не государственной несправедливости, а тенденциозных суждений. И уже сам намёк на подобную тенденциозность свидетельствует о гораздо более глубоком и вдумчивом понимании писателем общественных процессов того времени, чем последовательная линия симпатий и антипатий авторов горьковского «Знания». Далее всё же именно эта линия (а иначе быть не могло) приобретает в рассказе смысловое доминирование.

Тем не менее сочувствие к герою, проникновение в его внутренний мир несколько не убывают. Тип психологизма в этом произведении Телешова близок чеховскому в ощущении неопределённости, эмоциональной неприкаянности, отгороженности от внешней суеты и скрытости многих душевных движений: «С приездом тёти Каши Лыжин лишился последнего уголка, где мог бы найти уединение. И он поставил в сенях, возле стеклянной двери, простую тесовую табуретку. На ней, заложив ногу на ногу и подперев ладонями скулы, он просиживал в одиночестве два-три часа. Все спали вокруг него, а он сидел и думал. Так же, как и в участке, он слышал, как тараканы шуршали по обоям, как иногда хрустел или трещал пол, как пробегали мыши. Чтобы быть без людей, но не быть одному, он брал иногда на колени к себе Амку, собаку тёти Каши <...> иногда, прижимая к груди тёплое мохнатое тело собаки, раскачивался с нею на табурете, точно с ребёнком, и, боясь хоть одним звуком нарушить ночную тишину, кричал мысленно: “Амочка!.. Амка!.. Ведь мы с тобой — как два пса!..”»³

Но, в отличие от героев Чехова, внутреннее одиночество Лыжина всё же определяется общественно-историческим контекстом — той его ролью, должностью, которая изолирует личность от процессов «истинных», сопряжённых с самым естественным движением жизни, воплощённых революционным движением: «Первый раз в жизни почувствовал он себя глубоко несчастным человеком, обиженным и обманутым, точно его кто-то обворовал, — хотя ничего особенного

не случилось: так же хворала жена, так же не хватало денег, так же ели и пили дети, Амка и тётя Каша, только на улицах пахло тополями и клейкими почками и свежей землёй... <...> Лыжин вдруг вспомнил, что он никогда не слышал, как весной поют соловьи... <...> О журавлях и жаворонках, о счастье и свободе он знал столько же, сколько об Австралии, где будто бы листья на деревьях растут не плашмя...»⁴

Совершенно очевидно, что «счастье и свобода» встроены в тот же ряд явлений, что журавли, жаворонки (вольные птицы) и «клейкие почки»⁵. И в том же ряду «естественных», бытийных образов — «прекрасные молодые глаза» погибшего юноши-революционера, глядящие «как солнце из туч»: «... точно глядели они смело и радостно навстречу чему-то великому, и Лыжин знал, как зовут это великое, но не хотел называть его даже мысленно, но имя это слышалось отовсюду: звенело в его мозгу, в ушах и гулом несло по всему городу:

— Свобода!.. Свобода!..

Булыжные мостовые под катящимися колёсами, говор людей, окрики кучеров, свежесть и запах зелени и земли — всё сливалось в одну волну, широкую и гудящую:

— Свобода! Свобода!»⁶

Идеологическое слово в этом рассказе выражено крайне скупое, преимущественно в перекличке рефренов «нового, истинного» слова о свободе и «ветхого, лживого» слова официальной риторики. Лирическая стихия, пронизывающая рассказ, исключает хоть какое-то развёртывание системных доктрин, хотя по умолчанию подразумевается, что за «новым словом» такая доктрина стоит. Но рефрен «свободы» здесь ближе по настроению гуманистической «вольности» в произведениях романтиков и воплощает главную сущностную ценность идеи.

Идея свободы не становится идеей героя — он кончает с жизнью перед картой России, не в силах освоить новый большой смысл, приоткрывшийся ему как озарение и *превышающий* его психологические силы. *Единение в идее* остаётся некой прекрасной мечтой, образом субстанциального слияния с бывшими «врагами»: «... как будто никогда и ничего не было между ними враждебного, как будто вместе и всегда шли они заодно, как будто вместе умирали за родину, вместе страдали, ненавидели и любили...»⁷ И это слияние (вне времени и пространства) отсылает к романтическим категориям несбыточного, идеального, сверхчувственного, причём в их мифологизированном статусе (как, например, мифологично «светозарное будущее» в «Поединке» Куприна и др.).

Но в духе мифологизации — «частицей вечной силы» — предстаёт и юноша-революционер в этом произведении. Психологизмом с противоречивыми нюансами и настроениями обладает лишь сам Лыжин. Это можно было бы объяснить выбранным ракурсом героического восприятия, однако, скорее всего, проблема тут иного порядка.

Традиция реалистического психологизма — выявление самой противоречивости внутри индивидуально ценной личности, как уже было сказано выше⁸. Ценность «чуткого» героя — в его переживаниях, неизбежной же издержкой в создании «цельного» героя (например, Павла Власова в горьковской «Матери») всегда

становится та или иная степень предреши́нности, предска́зуемости. Если же главной основой цельности становится соотнесённость с идеологией как с началом заранее утверждённым, то здесь — неизбежный путь к полной обезличенности.

Так, например, совершенно обезличен герой-оратор в рассказе А. С. Серафимовича «Похоронный марш» (опубликован в том же сборнике, что и «Надзиратель»): «И он говорил им о вечной борьбе поработителей и порабо́щённых, говорил о железном ходе исторической жизни, который неумолимо сотрёт главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и всё-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно новое для человека»⁹.

«Железный ход исторической жизни» неумолимо сметает и «маленького» Лыжина, хотя и здесь у Телешова далеко не всё так просто: «Лыжин глядел холодными остановившимися глазами в лицо своей родине, точно в удивлении созерцая её всю, точно ожидая от неё чего-то большого, такого же — как она сама.

И так они молча глядели один на другого: Лыжин на родину, а родина на него — как будто понимая, но упрекая друг друга...»¹⁰

И в своей слабости, и в своей малости герой рассказа обладает неким внутренним духовным правом «упрекать» свою родину, которая стала для него непостижимой и жестокой загадкой, полем непреодолимых эмоциональных и этических противоречий.

Заметим, что у телешовского Лыжина есть «предшественник» — конвоир из рассказа В. Г. Короленко «Чудная». Он также не понимает арестантки, страдающей за некую «высшую идею», но обнаруживает куда больше теплоты, чуткости и душевной тонкости, чем она.

Спад интереса к авторам «второго ряда» во многом объясняется тем, что наука советского периода по преимуществу обращала внимание именно на общественное звучание их произведений, что, конечно, не может определять художественную ценность какого бы то ни было текста. Не может её определять и намеренное стремление автора обеспечить решение какой-то «прагматической» задачи — «иллюстрации» идеи или тезиса. Тем любопытнее изыскивание в произведениях случаев явно не прагматического характера, представляющих сложность для интерпретации, ибо как раз внутренняя сложность и объёмность смыслов, многоплановость образов является достоянием культуры.

¹ В данном случае и далее подразумевается период активной работы Горького в издательстве до разрыва с К. П. Пятницким.

² Телешов Н. Д. Надзиратель // Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. Кн. 9. СПб., 1906. С. 214.

³ Там же. С. 222–223.

⁴ Там же. С. 225.

⁵ Вряд ли и здесь случайна переключка с «клейкими листочками» из «Братьев Карамазовых», поскольку тема Достоевского встречается и в других произведениях писателя [например, «Между двух берегов» (1903)] как значимый культурный контекст. Да и сам образ был весьма популярен в общефилософском движении эпохи.

⁶ *Телешов Н. Д.* Надзиратель. С. 226.

⁷ Там же. С. 229.

⁸ См. также у Л. Гинзбург: «Литературный психологизм начинается, таким образом, с несовпадений, с непредвиденности поведения героя. Но ведь сущность анализа в поисках логики, причинной связи. Как это совместилось? Всё дело в том, что аналитичность психологического романа снимает кажущуюся его парадоксальность. Прямая, односторонняя обусловленность сменилась многосторонней. Равнодействующую поведения образует теперь множество противоречивых, разнокачественных воздействий. <...> Психологический роман сочетание неожиданности (парадоксальности) с закономерностью, до крайнего своего предела доведённое Толстым». (*Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л., 1977. С. 286.)

⁹ *Серафимович А. С.* Похоронный марш // Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. С. 258.

¹⁰ *Телешов Н. Д.* Надзиратель. С. 231–232.